

*Словно льдинок узор,
что легли на цветок хризантемы
в моем тихом саду,
я в своем безответном томленьи
изойду, исчезну навеки...*

Ки-но Томонори

Мотю все в Краснополье звали художником и по-другому его никто не называл. Был он маленький, рыжий, веснушчатый, с длинным еврейским носом и большими, всегда печальными глазами. Работал он в клубе рисовальщиком киноафиш, которые почти ежедневно менялись, ибо больше одного дня фильм в местечке не шел, так как зрителей хватало только на один сеанс с половиной. Несмотря на скоротечность жизни своих творений, Мотя не халтурил, и каждую новую афишу рисовал, как будто создавал нетленное полотно. Клуб имел всего две рамки с натянутым холстом для афиш, и Мотя, вешая новую афишу, снимал старую и тут же использовал ее для следующей. Он нес старую рамку за клуб, пристраивал ее возле лестницы, ведущей в кинобудку, — под этой лестницей Мотя имел маленькую каморку для красок, — вытаскивал свои инструменты и принимался за уничтожение своего предыдущего шедевра, покрывая его слоем грунтовки. Закончив грунтовать полотно, Мотя всегда поворачивался ко мне и, как-то по-детски безмятежно улыбаясь, говорил:

— Был художник, нет художника.

Мотя был старше меня лет на десять. Когда началась война, ему только исполнилось четыре года. Его отец Ойзер-плотник ушел на войну с первым призывом, но их поезд с новобранцами не доехал до фронта, под Клинцами поезд разбомбили, и в этой первой бомбежке Ойзер погиб. А его мама Хана-белошвейка с огромной семьей — десять детей — осталась в Краснополье. Через несколько месяцев всех краснопольских евреев убили во рве за сушильным заводом. Немцев в местечке было всего трое, и всю работу по уничтожению евреев проделали местные полицаи. Экономя пули, малышей убивали, разбивая им головы о забор сушильного завода. Маленького Мотю полицаи несколько раз ударил о забор, превращая его головку в сгусток крови, а потом швырнул его в ров, уже переполненный



группами. Но Мотя остался жить. В ту ночь в местечко пробрался Степка-партизан, который любил старшую Мотину сестру, Хаву. Ища Хаву, он наткнулся на еще дышащего Мотю. И забрал его с собой в лес. Каким-то чудом Мотя выжил, но на всю жизнь остался молчаливым и печальным. Всю войну Мотя провел рядом со Степой, но буквально перед победой Степан погиб, и Мотя во второй раз остался сиротой.

После войны он в школу не пошел, сославшись на слабоумие, каким-то образом сам научился грамоте и стал работать рисовальщиком в клубе, неожиданно для себя обретя дар художника. Мотя рисовал не просто афиши, а создавал буквально шедевры. Никто не понимал этого в местечке. Афиши, конечно, всем нравились, но не больше. У него было какое-то удивительное чувство декоративности и одновременно монументальности, выбивающаяся за рамки обычного экспрессия и необычайно тонкий острый мазок. В его афишах было что-то от Тулуз-Лотрека, чьи картины Мотя никогда не видел и чьего имени никогда не слышал. Это я понял значительно позже, когда уже не было ни Моти, ни его картин. А тогда я, как и все, ждал очередной шедевр Моти, видя в нем просто красивую картинку и очередной анонс нового фильма.

Познакомился я с Мотей, когда мне было лет семь, а ему семнадцать. Мотя разрешал мне смотреть, как он рисует. Но в то время самое главное для меня было в наших встречах то, что я раньше всех мог узнавать, какой завтра будет новый фильм. А весь процесс рисования тогда был мне не интересен, ибо Мотя делал свою работу молча и ни в какие разговоры не вступал, как я ни старался его вовлечь в беседу.

Я вырослел, а Мотя старел. Из-за молчаливости Моти наши встречи стали все реже и реже, а потом я уехал учиться и, редко бывая в Краснополье, всегда удивлялся, как Мотя быстро стареет. Он приобрел большую седую бороду, отрастил длинные волосы и стал походить на настоящего художника. Он все так же продолжал рисовать афиши и так же их ежедневно уничтожать, приговаривая свое неизменное:

— Был художник, нет художника.

И вдруг, когда на Краснополье неожиданно обрушилась черныбыльская катастрофа, Мотя пришел к директору клуба и вместо обычных двух слов сказал шесть:

— Я нарисовал кое-что. Можно повесить в клубе?

В это время в клубе готовилась встреча с местным активом, дабы успокоить население, и для ее проведения местное райкомовское начальство было усилено группой ученых из Минска и Москвы, приехал даже кто-то из ЦК. И директор клуба, по своей местечковой наивности и зная Мотино мастерство, подумал, что Мотина идея придётся кстати и понравится начальству, и дал добро на своеобразный Мотин вернисаж. Я как раз был в то время в Краснополье, и Мотя попросил

меня помочь развесить его листы. Я с радостью согласился. Мотя принес в клуб свернутые в трубочки куски обоев. На их обратной стороне он обыкновенной школьной тушью нарисовал удивительные рисунки. Фантасмагорию Чернобыля. Апокалипсис. На листах были огромные яблоки, величиною с арбуз, страшные, как аллигаторы, огурцы, кошки похожие на тигров, и слоноподобные лисицы, своим страшным хвостом смахивающие дома...

— Что это? — спросил я.

— Это сон про Чернобыль, — сказал Мотя. И тихо добавил: — Мой сон.

Я внутренним чутьем почувствовал, что это Моте не дадут показать местному активу. Но ему ничего не сказал, и мы молча развесили в пустом ночном фойе клуба Мотины листы. Потом Мотя долго рассматривал свои рисунки, словно сам удивлялся сотворенному... В этих рисунках было что-то непостижимо великое и страшное, как на последних картинах Гойи. А потом мы закрыли клуб и пошли по домам.

Утром мама меня разбудила раньше обычного и сказала, что мимо нашего дома пробежал Мотя с директором клуба. И Мотя был чем-то очень взволнован: обычно молчаливый он кричал что-то непонятное и размахивал руками, что было на него совсем непохоже. Я быстро оделся и помчался к клубу. Вбежав в фойе, я увидел пустые стены.

Мотю я нашел за клубом. Он стоял возле горящих, скомканных листов с рисунками и смотрел, как их пожирает пламя. По его щекам текли слезы.

— Что ты делаешь? — закричал я.

— Райком сказал — нельзя! — как всегда односложно ответил Мотя. — Директор сказал — спали!

Больше он ничего не сказал. Потом, когда листы превратились в пепел, он развел как обычно руками и сказал свою обычную фразу:

— Был художник. Нет художника.

И, повернувшись, пошел от пепелища. Я попытался пойти за ним. Но он оставил меня. И я остался стоять.

Через несколько дней его не стало. Он умер, как жил, молча. Пришел сам в поликлинику. Сел ждать врача. И умер в приемной.

После него не осталось ни одной картины. Был художник, нет художника...